

Хейден Уайт ОТВЕТ ИГГЕРСУ

Георг Иггерс считает, что ошибочно думать, будто бы "историописание", даже заключая в себе ряд "литературных" элементов, само по себе есть род литературы. В его глазах, историческое сочинение - первым делом средство передачи результатов конкретного рода "исследования". Я же, согласно Иггерсу, нахожу его продуктом дискурсивного акта или практики скорее "поэтической", нежели когнитивной природы. И стало быть, я отрицаю различие между историческим и художественным дискурсом, уподобляю историю беллетристике и приравниваю "содержание" исторического сочинения к "вымыслу" романа, стихотворения или театральной пьесы. Уайт уверен, говорит он, что исторические факты скорее "изобретены", чем "открыты", и что тексты историков "предопределены" или "обусловлены" "лингвистическим методом", "пленниками" которого являются. Вот почему, по его мнению, я полагаю, что сочинения историков можно трактовать как "самодовлеющие" лингвистические структуры безо всякого отношения к контексту и интенциям авторов. Иггерс находит эти идеи ложными или преувеличенными, или не до конца продуманными. Они не отдают должного своеобразию историографии в ряду гуманитарных и социальных наук и, во всяком случае, приводят меня к превратному пониманию историков и философов истории, чьи труды я хотел проанализировать в "Метаистории".

Говоря еще конкретнее, Иггерс чувствует, что я не осуществил задуманного в "Метаистории", а именно не проанализировал исторические сочинения в качестве вербальных артефактов в форме нарратива и не охарактеризовал труды отдельных историков во всей их сложности и отличиях одного от другого. Мое "тропологическое" понимание историографических стилей вынуждает меня навязывать классическим трудам историографии ложную логику, затемняющую скрытые в них "противоречия", и не брать в расчет их "контекстов", с одной стороны, и сознательного намерения их авторов писать историю, а не беллетристику - с другой.

Свой ответ на статью Иггерса, - в которой мне видится великодушное усилие понять мой труд и приглашение скорее к доброжелательному диалогу, чем к полемике, - я хотел бы начать с признания его правоты в ряде пунктов. Прежде всего он прав, полагая, что из "Метаистории" не удастся почерпнуть нарративный или, точнее, нарративистский анализ затронутых исторических текстов. Предлагая рассматривать исторические сочинения в качестве того, чем они на самом деле являются, т. е. в качестве вербальных артефактов в форме нарративных прозаических дискурсов, я скорее подчеркивал их статус "вербальных артефактов", нежели статус "нарративов". Кроме того, я предположил, что история отличается своей нарративной формой, и эту форму не проблематизировал, как впоследствии был вынужден поступить, отвечая на критику в мой адрес, сходную с той, которую высказывает еще раз Иггерс.

По-моему, стоит напомнить, что замысел "Метаистории" восходит к середине 60-х годов, времени расцвета структурализма в гуманитарных науках, и что целью моей книги было показать, как нарративное изложение "реальности" всегда можно представить аллегорическим претворением глубинного структурного содержания - знаковых систем и онтологических позиций, - чем объясняется присутствие идеологических импликаций в самих нарративных репрезентациях. Такая точка зрения очерчена Бартом в "Дискурсе истории" и вполне реализована в "S/Z", законченном структуралистском анализе нарративности, понятой как парадигма идеологизирующего дискурса. Общим в те времена было убеждение, что нарративный и понятийный (или такой, который Грема называет "алгоритмическим") способы рассуждения - разные вещи. Так, в философии истории существовало представление, что история, в отличие от той же социологии, объясняет события, связывая их в повествование или, точнее, показывая, как цепи событий могут быть связаны так, как связаны элементы двух разных повествований.

Со структуралистской точки зрения каждый нарратив предполагает концептуальную схему или систему для связи частей в целое, - что выглядит простым выстраиванием феноменов в последовательность и что позволяет им раскрыться в их функциях как элементам и факторам повествования. Такое объяснение посредством повествования я назвал "сценарием" и определил как способ, которым вещи, "представленные" для анализа, наделены дифференциальными значениями - моральными, эстетическими или психологическими, экономическими или культурными - словом, "идеологическими". Нарратив, как мне тогда казалось и все еще кажется, есть попросту форма дискурса, придающая "естественность" того же рода, что и рассказанный мир, тому, что фактически является системой убеждений, построенной в интересах конкретной социальной группы или класса.

Для серии, издававшейся Н. Кантором, меня попросили написать небольшую книгу по истории историографии XIX-XX вв., и мне подумалось, что к истории некоторого рода сочинительства, написанию истории, можно подойти через изучение текстов историков или других интеллектуалов и исследователей, которые писали об истории ("истории" либо в смысле "прошлого", либо процесса разностороннего развития мира, в котором "настоящее" можно назвать производным или девиацией от некоего "прошлого"). Классические истории историописания (Гуна, Фютера, Кроче, Томпсона и др.) в самом деле не рассматривали вопрос "написания" истории (помимо некоторых жестов в сторону стиля, понятого как то, что украшает речь, и как талант хорошего рассказчика); конечно, не рассматривали они и вопрос написания истории в том смысле, в каком современные им теории в сфере лингвистики, философии языка, литературной критики, антропологии и "текстологии" рассматривали вопрос "написания".

По общему убеждению, письменный дискурс производит, помимо какого бы то ни было эксплицитного "сообщения", относящегося к "ре-

ференту", изобилие смыслов ("означаемых" - на семиологическом жаргоне того времени), в которых узнаваемы производные от принципов отбора и комбинации (диатактических правил), использованных в композиции самого дискурса. Различие между "референтом" дискурса и "смыслами", приписанными ему посредством языка описания, дает возможность теоретически представить всякий, так сказать, "реалистический" прозаический дискурс "многослойным" - он обладает сознательно вложенной в него "поверхностью" и неосознанной "глубиной", по структуре и воздействию похожей на глубину "поэтического" высказывания.

Подобные соображения, я полагаю, позволяли мне предложить обновленное толкование традиционного различия между "вымыслом" и "фактами", на основании которого в XIX в. исторические исследования могли претендовать на звание науки (в значении близком немецкому слову *Wissenschaft*, скорее "дисциплины", нежели экспериментальной и лабораторной науки, как химия или физика), сложиться в профессию и взять на себя задачу создания корпуса фактов, дабы измерять искажения реальности, заключенные во всякой "идеологии", и одновременно послужить политическим и национальным интересам новых государств, оформившихся вслед за Французской революцией. Так, после долгих лет чтений и размышлений об истории историографии в XIX в. я написал "Метаисторию" и следующую четверть века потратил главным образом на поиски ответов на критику занятых в ней позиций, не думая ее защищать или тем более за нее извиняться, а пробуя уточнить методы, посредством которых современные западные общества строят и используют отношения между историческими фактами, с одной стороны, и идеологией, понятой как искажение фактов, - с другой.

Прежде чем обратиться к разбору наших теоретических расхождений, я хочу сделать одно замечание, касающееся соотношения вводного и заключительного разделов "Метаистории", где изложена модель исторического текста, и основной части, в которой, как мне кажется, я попытался с ее помощью рассмотреть сочинения конкретных авторов (Ранке, Мишле, Токвиля и Буркхардта - из числа историков; и Гегеля, Маркса, Ницше и Кроче - из числа философов). На самом деле теоретическое введение и заключение написаны мною после глав о классических текстах историографии и философии истории XIX в., и теоретическую часть моей работы можно считать итогом размышлений над тем, что я делал или, точнее, пытался сделать в разборе этих исторических сочинений. Они не иллюстрации модели исторического текста, сформулированной до написания конкретных разделов и примененной в них.

Изложенная во введении и заключении теоретическая модель историографии XIX в. - результат осмысления того, как я работал над текстом книги. Сначала представление и анализ исторических трудов, взятых в качестве примеров "исторического воображения XIX в.", затем теоретическая модель исторического текста - такая последовательность, конечно, соответствовала тому, как, по-моему, на деле происхо-

дит написание исторического сочинения. Историки зачастую представляют свой труд так: сначала исследование и только потом написание текстов, призванных отразить результаты научных разысканий. В "Метаистории" и других работах я высказал убеждение, что создание повествования начинается с момента, когда историк выделяет для анализа некий фрагмент прошлого. Само установление и описание потенциального предмета исследования уже содержит его известную концептуализацию и подразумеваемые познавательные модели, которые могут послужить объяснению, пониманию, изложению либо простой констатации. Все, что я попытался сделать в теоретическом введении и заключении к "Метаистории", - это сформулировать подспудное содержание собственных усилий, направленных на адекватное описание исторических текстов, "историю" которых мне потребовалось написать. Теперь я позволю себе охарактеризовать то, каким образом этот замысел я мог бы сформулировать сегодня.

Всякое описание подразумевает метаязык, санкционирующий имена вещей, отношений между вещами и характеристик, видоизменяющих эти имена и отношения. Сформулированный или только подразумеваемый как условие всякого описательного дискурса, он санкционирует употребление некоторого рода образного высказывания в значении буквального. Метаязык создает дифференциацию, на основании которой устанавливается различие между тем, что мыслится взятым в буквальном смысле, и тем, что воспринимается всего лишь как метафора и украшение речи. Однако различие между тем, что необходимо понять буквально, и тем, что выглядит простой фигурой речи, произвольно или конвенционально, и строится в языке, метафоричном с начала и до конца, если только всякий язык метафоричен по сути. Невозможность избежать образного высказывания в самом "обычном языке" описания реальности, которую предполагается подвергнуть "объективному" исследованию, и предопределяет неизбежную "вымышленность" любого исторического дискурса в форме нарратива или истории.

Это тем более касается описаний прошлого как процесса изменения и преобразования, представленного в нарративной форме. Хотя нарративная история стремится выглядеть "буквальной" репрезентацией реального прошлого и расцениваться на основании соответствия сказанного о прошлом (фактов) тому, что документы позволяют о нем сказать, сама нарративная форма должна быть воспринята как продукт развернутого процесса оформления. Мне хотелось бы быть понятым, когда я говорю о процессе, в результате которого реальные события, вещи, лица и явления преобразуются в фигуры речи, возможные в повествовании. Имея в виду именно это, я утверждал, что исторические нарративы стоит понимать прежде всего и главным образом как "вымысел" или, точнее, "аллегории" значений, какими только "истории" И могут наделять события и вещи, воображаемые или реальные.

В этом самом смысле (я теперь думаю) я настаивал в "Метаистории" на том, что воспринимается как род лингвистического "релятивиз-

ма" (и что интерпретируется некоторыми читателями как "лингвистический детерминизм"), и постарался констатировать "фиктивную" природу всякой репрезентации исторической реальности в форме нарратива. По этой самой причине (я теперь думаю) всякая трактовка дискурса, подразумевающего описание, представление и истолкование какой-либо реальности (в прошлом, настоящем или будущем) должна осуществляться под эгидой лингвистической теории и собственно теории письменного дискурса, способной объяснить диалектическую (или, как я ее назвал в "Тропиках дискурса", "диатактическую") связь того, что представляется буквальным и образным аспектами текста, в котором дан дискурс. Я теперь думаю, что характеризовать исторический нарратив как "вымысел" было ошибочным или скорее поспешным, поскольку в практике историописания после XIX в., свойственной западной культуре, воплощалось убеждение, что ее дискурс доступен, по меньшей мере, негативному определению, а именно отличается от "художественного вымысла", и что этот последний следует понимать как дискурс, обращенный к "воображаемому" (возможным), а не "реальным" (существующим или воссоздаваемым) предметам.

Для описания исторических нарративов я предпочел бы сегодня слово "литературный", имея в виду, что не всякое "литературное" сочинение - "вымысел" и что одна из характерных "содержательных" проблем литературного сочинения - представление "реальности", о которой говорится (буквально и образно) на том же языке, что служит для ее "передачи" и "описания". Конечно, такой путь рассуждения об историографии, которая только и желает, чтобы ее воспринимали "буквальным" повествованием о реальных событиях (о том, что реально имело место), может показаться излишне сложным и педантичным. Однако вне подобного подхода, без понятийного осмысления литературных элементов, вторгающихся во всякий письменный текст, который предполагает представить реальные события в нарративной форме, кажется невозможным оценить тот факт, что историческое сочинение в своем существе (а не случайных обстоятельствах) выглядит "образным", даже если имеет в виду говорить "буквально". Именно в этом смысле историческое сочинение - во всяком случае историческое сочинение в форме нарратива (подобно модернистским "литературным" сочинениям и в отличие от предшествовавшего им "реализма") - может расцениваться с точки зрения заключенной в нем "правды" - под правдой здесь скорее подразумевается правдивость "образов", нежели какая бы то ни было "буквальная" правда или дополнение к "буквальной".

Анализ исторического сочинения в качестве "литературного" (не в качестве "вымышленного") позволяет нам ответить на вопрос, поставленный Луисом Минком. Как исторические нарративы доставляют "правду", иную и отличную от достоверности отдельных утверждений и фактов (в некотором роде), которые содержат явно? Другими словами, исторический нарратив, взятый в целом, отсылает к "реальным" событиям прошлого и утверждает некоторые истины; однако его утвер-

ждения о правде суммы событий, взятых вместе (т.е. поданных в качестве правды нарративного изложения, в отличие от частных фактических констатации, существующих разрозненно), есть тот род "правды" о мире, который утверждается в специфически модернистском роде литературы - романах, поэзии, драматургии. Это правда явно такого рода, что может быть изложена "образным" языком, но едва ли "буквально". Я не верю, что кто-либо изучавший классиков модернистской литературы (Джойса, Пруста, Вульф, Штейна, Лоуренса, Паунда, Стивенса и др.) способен усомниться в том, что их сочинения не только предполагают донести правду о реальном (скорее, чем несколько нереальном) мире, но и имеют в виду говорить о нем "серьезно" (скорее, чем "несерьезно"). Другое дело, что реальность, к которой они обращаются, включает язык, речь, литературность и апории лингвистической интерпретации остальной реальности, частью которой являются. Именно это включение языка их собственного представления реальности сообщает модернистской литературе реализм, правдивость и теоретическое самосознание, куда более "диалектическое", нежели любое слывущее "объективным" представление мира, не включающее собственные языковые практики в круг предметов той реальности, которую оно стремится описать и проанализировать.

Вот почему я сказал бы сегодня, что исторические сочинения, конечно, не предполагают быть и во многих случаях не являются "вымышленными", однако - нарративные исторические сочинения в особенности - с полным правом могут быть охарактеризованы как "литературные", если под этим понимать род сочинений, чье написание - элемент и аспект эксплицитного содержания. Пойти по такому пути означает поверить открытию, сделанному модернистской литературой: язык, которым выстроен дискурс, - не только вопрос формы, но еще и вопрос содержания; любое сочинение, отмеченное саморефлексией и чувствительное к проблеме языка передачи внешнего по отношению к нему мира, должно включать артикуляцию собственного использования языка как элемента своего содержания, осознание того, что "писать" означает всегда делать сам акт написания содержательным и столь же "реальным", как всякая "описываемая" этим сочинением экстралингвистическая реальность.

Соображения подобного рода позволяют нам различать по меньшей мере три типа сочинений на основании степени лингвистического самосознания, в них заложенного. Одни исходят из предположения, что язык, речь или дискурс доставляют набор лишенных содержания "форм" — лексических, грамматических, риторических, как-то: топорсы, жанры, сюжеты. Если таковые корректно подобраны, они ничего не прибавляют в смысле концептуального содержания репрезентации событий, лиц и действий в реальном мире, для описания которого применены. Другие, сознавая, в какой мере "обычный" язык полон двусмысленностей и ассоциаций, что делает его сомнительным инструментом буквального выражения, для описания своих референтов и результатов

анализа этих референтов, понятых как "предмет исследования", используют "технический" язык (метаязык, жаргон либо слова с оговоренным значением). В таком случае язык представления реальности по отношению к миру, о котором на нем говорится, трактуется как трансцендентный или в некотором смысле "потусторонний". По одну сторону "слова" или знаки, по другую "вещи" или объекты, существующие постольку, поскольку могут быть переданы и представлены в "словах" или знаках. Здесь язык рассматривается как не вызывающее вопросов средство репрезентации постольку, поскольку значение его слов уста-новлено прежде их использования в дискурсе. Такой язык по идее должен быть понят буквально и может быть корректно прочитан только буквально, потому что составляющие его слова по определению избавлены от всех коннотаций. Наконец, есть сочинения третьего рода, парадигмой которого можно считать поэзию: само написание, использованное для представления реальности, мыслится элементом мира, о котором идет речь, - так что язык взят как полноправный референт. Подобное понимание языка присуще всякому поэтическому высказыванию и модернистской "прозе", романам Пруста, Джойса, Вирджинии Вульф и других, где сам язык выступает "содержанием" дискурса наряду с экстралингвистическими элементами реальности, которая служит его предполагаемым "объектом" или "субъектом". В сочинениях такого рода "реальность" не столько представлена (*vorgestellt*), сколько явствует или "преподнесена" (*dargestellt*) в тексте и как текст. Не то чтобы "реальность" "сводится" к сочинению или тексту. Скорее реальность понята таким образом, что вбирает в себя строящий ее язык и предстает собой в результате написания. Это все что угодно, только не "лингвистический детерминизм". Напротив, это лишь признание того факта, что язык, использованный для представления реальности, принадлежит той самой реальности, о которой говорит.

Перевод с английского И.В. Дубровского и М.Ю. Парамоновой